

Мы, урус-хай



*А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода...*

И. Эренбург

1.

Вот и настал день, когда впервые за без малого три тяжких года просияло светлое Ра-солнце. Дважды: посреде хмурного дня — на несколько сердечных туков глянуло в прогалину оболочка, никто с перепугу ни «ура», ни «хай» крикнуть не успел, стояли, головы запрокинув, как мраморные грецкие бабы, — а много после — подлегло под край того оболочка и в жёлто-алом сумраке опустилось-легло медленно-медленно за синие Окоёмные горы. Тут уж накричались вдосталь...

И радостно кричали, и горестно.

Всеблагое ты наше...

На кого ж нас покинуло...

Тем вот и хуже гельв нечистого, что нечистый месяц скрадёт, почухает-почухает, да и бросит, — а гельв подлый солнце-ра унёс — и как бы не навсегда.

Для многих-то так и вышло — что навсегда. Сколько уж легло во глубокие рвы, не дождавшись возврата пресветлого — и русов, и урусов, и многих тарских да восточких племён людей-коневодов, что жили в кошмовых домах по ту сторону Ородной Руины, Общей Горы, где дарованы были в незапамятные тёмные годы тёмным же да розным племенам законы родства. И сказано: сколь будет стоять гора, столь пребудет и родство.

И вот нет вам ни Руины, ни законов...

Густится, клубится тьма. В душах людских тьма, не в небесах. В небесах днями висит мерзкая хмарь, бросает снежок, а когда скоплется ночь, то пускают гельвы огненных змей, и виднее всё округ становится, чем в хмарый полдень.

Десятский Мураш стоял второй за сегодня срок в башенке над воротами —

и пьян-счастлив был, что оба загляда пресветлого Ра на бдения пришлось его, а не на сон. Досадовал, ох и досадовал бы, обернись иначе. Ничего, что ветер поднялся, к ветру и спиной можно повернуться, бараний кожух проймаёт не враз. Холодный ветер, льдистый. Позёмку несёт, чьи-то следы по лесам заметает... Лето началось, да. Но вот уж и темь наполнила небесная, и змеи трёхглавые огненные, мертвенного блеска, под облаками полетели, и холод пробрал ноги и спину, заставив дрожать и зубами лязгать, а друг-заменщик не шёл и не шёл.

Уже пять десятков раз думкнула обтянутая кожей бочка в Царской башне. К шестому счёт шёл. Тогда только увидел Мураш, как слева, от Ясных врат, по скорбной тропе движутся кучкой несколько теней. Змеи мертвосветные их высветили... Никого не несли на руках, а значит — или занемогли сыпью горячеей, или — пришлые. Мураш вёл их взглядом. Скрылись за поречью...

Вот и шесть десятков минуло. Кто же там при бочке? Старый пешка Бобан-безгласый? Ленился Бобан, не ходит вокруг башни, а по-у бочки стоит да сердечные туки считает — благо, грамотный, умом умелый. Две сотни насчитал — думкнул по бочке. Ещё две сотни — снова думкнул.

Царь про то знает, но не сердится на Бобана. Дурная голова, мол, ногам покою не даёт, а умная, противу того, ногам помогает... Царь умных привлекает-любит, на то и имя ему — Уман.

Пришёл наконец сотенник Рудак, сумрачный, как туча дневная. С ним пешка незнакомый. Сказал сотенник опасное слово, ответ услышал — кивнул.

— Пойдём, Мураш, — сказал.

— Чего так долго-то? — стараясь зубом не клацнуть, выдавил Мураш. Снял кожух, отдал пешке.

— Плохо всё, — голову в плечи втянул Рудак, будто это он лишник полсорока А на морозе отстоял. — Городец Брянь — слышал такой?

— Ну?

— Так нет того городца...

Мал был городец, да дорог: с полу-

денных перевалов тропы стерёг, прям под ним они сходились — три. Оттуда к Бархат-Туру дорога мостовая шла... Не беспокоили городец всё время долгой гельвеей зимы, так и казалось, что минует его казнь. Перевалы снегом забиты таким, что верхового с конём и апостолой скроет. Но дождались вот налёта татского, воровского...

С сотню воинов там было всего, да баб три сотни, да детишек четыре.

Воины все легли — на стенах и после в поле, отбивая гельвов и закатных людей от обуза. Но не отбили, не смогли. До Бархат-Тура дошли шесть баб, две девки и два десятка ребятишек. Девки и здоровых ребятишек взяли за стены, а баб и трёх с ними помороженных да побитых недолеток послали в ров. Нет хлеба на всех, и на тех, что уже за стенами, нет хлеба...

Скорая смерть от железа чище, чем долгая от мук.

А городец спылал весь, то-то с Ясных врат и дым был виден довчера, и зарево в ночь.

Ждать теперь гельвов да рохатых, да гонорных людей и к стенам Бархат-Тура. Набрехали позорные наши на следы гельвские в лесах неподалёку. Кружат те и ждут, ждут и кружат, как тяжелые от непомерной сытости волки. Поймут, что стогодались мы, сошли на кость — и кинутся. Вон, половина уж воинов ни меча, ни сеча не подымет... а уж лок натянуть...

Мураш кивал. Прав был Рудак, мрачен, но прав.

В караульной темнухе горел очак, и только. Седоусый Лядно, скача на деревянной ноге, поставил перед Мурашом глиняный кружак с хлебнёй и нежно, как детку, положил у кружака тонкую лепёху.

Без соли была хлебня... да и почти что без ничего, две блёстки с трудом рассмотрел Мураш да какие-то опилки на дне. А уж по каким углам мучку для лепёх подметал да на чём тесто замешивал Лядно, Мураш спросить побоялся: как-то не по-едоцки хрустело на зубах. Одно, что хоть горячее было всё, да и со спиной тихо входило в нутро чистое тепло.

Доброе дело — очак. Добрым ог-

ненным оком глядит. Со времён древнего великого царя Урона на всех апостолах да знамёнах — очак и пламень.

Боялись его враги. В страшных снах он им предстал...

Неужто загаснет?

Хотел уснуть, да не дали: прибежал малыш Шелепка, велел идти к царю. Кряхтя собрался Мураш, хотел новый ков надеть, да вспомнил, что идти за ковом домой надо, а спать-то он так и прилачился в темнухе. Потому нашарил под лёжкой подменные сапоги — не тарские кошмовые, в которых холодные сорока стоял, а старые свои расшитые, рыжие, из конской кожи. И пошёл вслед за Шелепкой, зачерпнув по дороге через площадь горсть снега да протерши лицо.

У колодца стояли тихие бабы с ушатками. Тихо и страшно медленно стучала бадья в колодце...

Мураш ничего не спрашивал у малыша — раз тот сам не сказал, значит, и не положено было пока знать. Другие малыши у царя сменялись, а Шелепка, сколько Мураш помнил, оставался. Стало быть, отменно служит. Вон как шагает, бубенец придерживая. Ноги длинные, как у птицы журавели.

И вдруг остановился. Мураш едва не ткнулся в кривую спину.

Поперёк проулка лежало мёртвое тело.

Шелепка проворно раздул фитиль, который прятал до того в рукаве, зажег маслечник. Подержи, — велел. Мураш взял светильник, встал так, чтобы лучше видеть. А малыш быстро, внимательно осмотрел тело, не сразу тронув руками, потом тронул, перевернул.

Чужое, страшное, костистое лицо, не понять, муж или баба. Или девка?..

— Нет, — сказал Шелепка. — Сама померла.

— Вот как? — Мураш выпрямился, вернул маслечник. — А бывает, что не сами?

Шелепка посмотрел на него, не ответил, загремел в бубенец. Скоро прибежали, волоча ноги, сторожи. Их то было дело.

— Идём, — сказал малыш.

2.

Царь Уман сидел за столом, с ним тысяцкий-городовой Босарь, тысяцкие-полевые Уско и Мамук, ключник Сирый и ещё человек пять, которых Мураш не знал.

— Чего так долго? — хмуро спросил царь. — В другой раз за смертью тебя пошлю...

— На мертвечиху наткнулись, — сказал малыш. — Я и подумал: а не упыри ли снова, часом? Пока осмотрел, то, сё...

— То, сё... — передразнил царь. — И что оказалось?

— Не упыри. Сама. С гладу-холоду...

— Ясно. И упыри не потребовались... Ладно, Шелепка, иди пока. Спи. Нужен будешь, разбудят. А ты садись, десятский, пей-веселись, угощайся...

Угощение стояло самое царское: в серебряной плетенице разварная репа, в хрустальных — седьмая водица на медке. Мураш подцепил краюшку репы, стал жевать. Царь ждал. Мураш сглотил, ложку отложил, рот шитым утиральником утёр — показал, что сыт безмерно.

— Мураш, значит... — сказал царь. — Тот ли ты Мураш-десятский, который посольство наше перед войной в роханскую землю сопровождал?

— Да, царь. Тот самый.

— Земли роханские помнишь?

— Помню, царь.

Хотя — чего там особо помнить? Степь, она как стол скатертный...

— Тогда слушай, тот самый Мураш.

И Мураш услышал.

Не даром дался Брянь-городец. Нагло полезли гельвы да рохатые людшки в первый приступ — тут рога то им и пооббили. Кто за стену перебрался — ни один не ушёл, а троих вообще на языки взяли. Один рохатый на смертный испуг слаб оказался, всё сказал, что ни спросили. И после, когда обузом из горящего городца уходили, девкам дали слова его запомнить...

Стало быть, гельвы — они и рохатым уже поперёк глотки вошли. Ца-

рям дерзят. Бытуют наособицу. Рохатые, пусть и враги, а обычай добрый степной имеют: нажитым делиться, за щеку не прятать. Гельвы ж не будь дурни: брать-то братское с охотой берут, а своё жият крепко, за высокими стенами да под охраной.

В Моргульской долине сейчас болото стоит непролазное, а со дня на день вообще паводка ждут. Потому для военного огорода, что по эту сторону долины, запасы возили два месяца. И по гельвему доброжмотству большая часть запасов держится укротно, в лесу за засеками да на деревьях. И место этого укрома пленник знал — и назвал...

Разное там. Много. А главное — возов двадцать гельвских хлебов, которые русы прозвали «вечными». Один человек на плечах в походе стодневный запас нести может, не утомляя ни спины, ни ног. А там — двадцать возов.

— Ты понял, Мураш?

Мураш ещё не понял. Он считал, загибая в уме пальцы. Возы наверняка гонорские, бычьи запряжки, других возов в закатных обузах не видел он ни разу. Этих стодневных запасов на каждом будет по пять сотен, а то и по шесть. И если двадцать возов, то это получается... получается...

А ведь стоднев — он на здоровенного воина рассчитан, да так, чтобы сил у него не убывало, а прирастало. Бабам же и ребятишкам — считай, вчетверо с хвостиком получится.

Там, глядишь, и солнышко-ра вернётся. Урожай уродится. Хоть бы репата же, ей много ли надо? — не ведро, а воды ведра...

— Так, — сказал Мураш. — Я понял, царь. Сколько людей дашь?

— Ничего ты не понял, торопун, — покачал головой Уман. — За хлебами другие пойдут. Твоё же дело будет — огородец на долине взбаламутить и за собой увести. Зря я тебя про роханские земли пытал?

— До роханских земель не дойти, — сказал Мураш. — До Итиля — и то вряд ли.

— А я тебя не заставляю туда идти, — сказал царь. — Я тебе туда идти раз-

решаю. Если припрёт. Есть такой пограничный рохатый князец Улбон — он вас и примет, и не выдаст. Ясно теперь?

Мураш помолчал.

— А что, царь, — сказал он наконец. — Пожалуй, что и ясно. Так сколько людей дашь?

— Много не дам, и не надейся. Зато дам лучших...

3.

И получилось так: стал Мураш верховым сотским. Под апостолу его подведены были тридцать два воина, искусные и в конном, и в пешем деле. Многих новосотский знал раньше — Савс-рябец, например взять, многих он стоил, когда отступали от Монастырита, шесть обломанных стрел потом вынули из боков и плеч, и огонь раневой он перемог, и гельвский яд. Долго товарищи знали: вот-вот померёт. Так ведь не помер, стоит крепко, широк в кости, череп лысый бугристый в рубцах и зубы через раз, зато глазами чёрными весело смотрит. Или Манилка, тарский род: хитрый, наглый, ловкий, как камышовая кошка, больше десятка гельвов скрал, а ты гельва поди-ка, скради. Уже после того, как взорвали гельвы Ородную гору и превратили день в сумрак, а лето в зиму, сколотил Манилка бучу из русов и тар — и такой копоity врагу задал, что гельвы (а может, и не гельвы вовсе, а гонорные или рохатые; кто после разберёт?) в конце концов мирное кочевье пленили, а там одних детишек с полсотни было, и гонца заслали: не выдадите Манилку — всех под лёд. Что сказать? — отбили кочевье, в жалы да ножи катюков закатных взяли, только сами почти все мёртвыми легли, и у Манилки — вынесли его на руках, — как поправился, левая нога на вершок короче стала, и прихлёб появился, когда дышит. В поиск теперь не пойдёшь... Или вон взять Барока сероглазого — родом он из гонорных, давно ушёл на службу в Черноземье, много до войны. Женился на горынычне из-за Горгорота, детишек завели... Когда война только-только

началась, татский набег случился на горный край; по слухам, совершили его двари — больше из мести за то, что горынычи варят лучшее, чем дварское, железо; кто знает? живых-то не осталось... За руки приходилось уводить Барока из схваток; а ежели видел он дварей на той стороне, то и не увести было.

Другие тоже были хороши, а вдруг кто и не был, так станет. Верное дело — бой...

Что сомнения вызвало, так это две девки, Рысь и Беяна, русинка и уруска. Не хотел брать их Мураш, да прогнать не мог: Рысь-то племянницей тысяцкому Мамуку приходилась, а Беяна из тех двух брянских девок была, что дошли и ребятишек довели. Не хотел же он брать потому, что знал: на недоброе дело ведёт он сотню свою, и не стоит девкам того видеть, что будет... однако ж вот: взял. Рысь гельвский знала; у Беяны в глазах слыла смерть.

Дал Мамук соимёнников своих, мамуков — сохранил где-то в лесах. Отощали мамуки, и рыжая шерсть сваялась, и горбы в стороны попадали пустыми котомками. Четырёх дал, сказал, что больше не может, надо же будет хлеб вывозить, самых сильных дал... а глазки бегали. Мураш спорить не стал, всё одно придётся конями разживаться. Эх, водил когда-то Мамук мамуков лавой, и разбегались закатные люди, страху терпели, и называли между собой мамуков олифантами, небывальными зверьми в десять, в двадцать ростов человеческих и с торчашими изо ртов пиками. Ну, не изо ртов, положим, у мамуков пики торчали, сбруя такая была излажена... да оно и ладно. Пусть себе ужасы воображают, нам же лучше.

Вот — исхудали мамуки и в росточке сильно опали, и не сбруя на них теперь, а санная упряжь. Розвальные сани; хорошо. Погрузились; хоп-хоп-хоп! — и похлюпали по липкой серой снежной каше. Не хлопья, лепёхи валились с неба. Два десятка вёрст, два часа по Закатному тракту — а потом вдруг, не доезжая земляного вала, спешно насыпанного встреч прибли-

жающемуся неприятелю (ох, не надеялся молодой царь Урон, доброй ему охоты, удержать врага на Окоёмных горах да Чёрных воротах), Мураш руку поднял, сотню свою остановил, с Манилкой пошептался — и повёл мамуков налево, в другую сторону от Дархана, горного замка, построенного в старину гонорскими людьми, дабы подчинить себе слабое тогда Черноземье, — повёл сначала сквозь мёртвый яблоневый сад, а потом вверх по ручейной промоине — туда, где синевато белели складчато-натянутые склоны Нечаев, ближних отрогов Окоёмных гор. Четыре дня пути предстояло по лощинам и падам — это ежели повезёт и всё состроится так, как хотелось.

4.

Дошли до края.

Снова солнышко-ра блеснуло им на закате, дало полюбоваться собой и тихо стаяло за острыми пиками итильских гор Аминарнен, что поитильски значит Королевские Горы, за которыми расстилался уже и сам великий Он-Двин, Срединная Река, делящая мир на Восход и Закат.

Засветло распрягли и отпустили мамуков, сами найдут и дорогу обратную, и еду свою — кусты под снегом. Спуститься с гор можно было только пешмья, распираясь палками, а то и на верёвках — и спуститься надо было сейчас, сразу, до глухой тьмы.

Разобрали поклажу. Манилка вёл, пробивая собой глубокую колею, Мураш и четверо с ним, самые сильные, замыкали. Спускаясь, потели; шатались, осклизывались, падали — мокрые и горячие. Кто-то к середине спуска уж и вставать не хотел — тех били. Долго провозились с верёвочным спуском, но там и сам Манилка другим манером не прошёл бы — высок был обрыв. И спустились почти до конца, и даже ночь не помешала б делу, да только вот в самом конце молодой пешка-урус Котейка сплоховал: то ли палка такая непрочная попалась, то ли что — а сорвался он вдруг и молча, никто и не понял ничего, головой

вперёд по проторе шагов десять пронёсся, зацепил троих — и прямо в комель кривой сосны пришёл. Ну, собрались. Котейка не дышал, голова сбилась набок, глаза изумлённо видели что-то совсем иное. А с зацепленным им десятским Лепом худо оказалось: правая нога повыше щиколоток хрустела и быстро надувалась, и что тут скажешь: отходил своё Леп надолго, как бы и не навсегда.

Мураш — и прочие рядом — посмотрел вверх. Склон нависал, как стена, пропадая в чёрном небе. Только что спустились оттуда, а уже не верилось.

Умные мамыки на полпути к дому...

Вдвоём нести по ровному — не дотащить живого: долго, замёрзнет. Значит, четверых отряжать. А наверх втащить — и шестерых мало.

Четверть сотни уйдёт, врага не поймав...

— Жалей меня, Мураш, — ясно сказал Леп. — Или давай, я себя сам пожелаю...

Мураш молча сел рядом с ним, взял за руку. Твёрдая была рука...

— Да, — сказал он. — Прости, Леп.

— И ты меня прости... Моё жало только возьми. Потом себе оставь. Получится — жёнке вернёшь. Не получится — и то ладно.

— У тебя жива ещё?

— Жива... Крепкая *ЖИла*, из горынычей.

— Помню её. А мои все...

— Знаю, Мураш. Передать им что?

— Скажешь, скоро свидимся.

Пусть не скучают.

— Ладно...

Мураш принял жало Лепа, поворочал в ладони, привыкая. Рукоять была костяная, шершавая, ухватистая, клинок — трёхвершковый, трёхгранный, чуть изогнутый, с детский палец толщиной, на конце сплюснутый и отточенный, у основания загрублённый, чуть зернистый; древняя вещь.

— Ещё от прадедов, — подтвердил Леп. Он лёг поудобнее, повернул голову в сторону. — Да, чуть не забыл, — приподнялся. — Брательника моего встретишь, Миху, так передай: про-

клял его отец наш по-чёрному, пусть знает. Но сам не убивай.

— Постараюсь, — сказал Мураш.

Он приложил остриё жала к шее Лепа между напрягшимся щетинистым кадыком и углом челюсти — и мгновенным движением снизу вверх воткнул клинок на все три вершка, не зацепив ни косточки. Леп даже не вздрогнул, только потянулся смертно и тут же обмяк. Одна капелька крови выглянула из звёздчатой ранки...

— Доброй охоты, Леп, — сказал Мураш. Встал. Оглядел своих. — Радёк, Креп, Барма — прикопайте ребят и догоняйте нас. Лёжка будет под склоном.

Костры пусть не костры, а собойные очаки распалили, грелись. Густой ельник скрывал всё.

Выбиваешь под ёлкой яму, ежели надо — сверху ещё следаками да лапами прикрываешь. Уже тепло. Свечечку поставить — совсем тепло. А собойный очаг — это котёлка такая с трубой насквозь, ещё и перегородкой пополам делённая, в трубе шишечки-палочки горячо горят, в котёлке юшка да каша булькают, — с ним вообще хоть помовню устраивай. А и устраивали иной раз, бывало — но не сегодня. Половина сотни вон спит уже, силы все кончились, половина с голодухи уснуть не может, кашку ремennую ждут. По три ремня вяленой конины выдал Сирый на брата, а что там тот ремень? — уж давно плесень одна. С крупой не лучше. Ну да оно ладно, разживёмся...

Закончил обег лёжки Мураш, в свою нору забрался. Манилка спал и посапывал, Барок сеч-ватаган оселком доводил, хотел, наверное, чтоб волос на лету вдоль сёк, а девки обе очаг облегли с двух сторон да варево заговаривали. И то правда: пахло как-то иначе.

Знал давно Мураш, выучил назубок, как правёж: не хлебать с голодухи да с усталости враз, а — малыми глоточками, с расстановкой. Знал-то знал, а тут не смог перестоять: в два проглотта свою долю смёл, пот вытер — и как потонул.

Не слышал ничего.



5.

... — А как же ты гельвский-то выучить сумела?

— Да так. Слово за слово. Он простой, гельвский. Это они с нашими речами мучаются. Даже средземный — уж чего проще, правда? — и то знают еле-еле. Хотя опять же — зачем он им? Кому надо — те гельвский пусть учат...

— Я про другое, не про то. Тебе не... не противно было?

— Нет. Язык-то при чём? Мне и сейчас не противно было бы. А сами гельвы... они мне тогда нравились даже. Такие... необычные. Потом уже поняла, что сквозь людей смотрят. А сначала думала — красиво, тонко, рьяно. Дура была. А потом вообще война началась. Мы ж еле выбрались тогда...

— А почему они нас за людей не считают?

— Наверное, им так проще. Ещё и войны не было, а уже пошло: уруки — чудовища, мясо сырое жрут, не моются, в шкурах ходят... ну и ещё чего хуже... На нас с сестрой специально глазеть приходили: когда же мы звериное нутро покажем?

— А почему «уруки»?

— А они почему-то всё время «с» и «к» путают. Я понимаю, когда «б» и «в», «п» и «ф» — можно не слышать, неправильно записать, потом по записанному выучить... А почему вместо «с» вдруг «к» получается, они и сами сказать не могут. И вместо «урус» у них — то «уруц», то «урук», а то и вообще «орок»... И видят вокруг они чудно. У гельва глаз ночной, пытошный — синего от голубого не отличает...

— Девки, — сказал, не разжимая рта, Барок. — Ну-ка спать бегом... не наболтались...

6.

Вот он, огородец военный. Ров, за ним частокол. Вышки наблюдательные. За частоколом верхушки шатров рядами — не сосчитать. Да и не за тем пришли, чтобы считать. Хаживали уже к огородцу лазучики, и выходи-

ло, что тысяч пятнадцать регулярного войска сидит тут, из них гельвов до тысячи, прочие — гонорные и рохатые люди.

Мураш сполз с камня, махнул рукой: туда. Манилка уже стоял меж сосен, ждал, оглянувшись. Дождавшись отмашки, повёл, ступая легко: из лоз плетёные следаки не проваливались, держали, и хоть смешно человек бежит, словно придурается, а бежит по верху, не буровит снег. Добрая вещь следаки, и на снегу в них легко, и на болоте не страшно...

Ушли от огородца в сторону, обогнули дневной дугой — и снова в лёжку. А искать место пришлось, волглый снег, непригодный. Но — нашли. Спали до предУтра.

А на рассвете остановились. Нет, не показалось солнышко, за спиной оно вставало, за горами да за колдовскими оболочками, но небо впереди просияло и белые зубцы итильских гор. Другое: стояли они на возвышенном берегу речушки Пустыка, граничной когда-то меж Черноземьем и Итилем — а впереди был низкий её берег, и берег был полон травой...

7.

С переправой и навозились долго, и промокли зря: добрая синегарьская верёвка, которой сплотили брёвна, то ли погнила, то ли при спусках с гор перетёрлась, то ли мыши её подгрызли — в общем, распался тот плот. Добро, место мелкое уж было, всего-то по грудь — до берега добрели и ничего ценного не потопили.

БЕгом грелись. Далеко ушли. Чуть на итильский Южный тракт не выскочили...

Без шуток. Вдруг первоходец Манилка рукой замахал и бросился за куст, и все, кто шел позади, тут же рассыпались по кустам да за кочки, а через малое время зацокали впереди копыта, и медленной рысью прошёл впереди роханский разъезд: двенадцать конных воинов в кожаных стёгнах, в железных шишаках с кованной стрелкой-переносьем и короткими загнутыми рогами — чтобы меч чу-

жой, по шишаку скользнув, не на плечо падал, а застревал; в руках тонкие длинные пики и гнутые луки за плечами; все кони гнедой масти — стало быть, лёгкая разведка. У рохатых завод такой: для боя вороная масть и белая, а для похода и разведки — гнедая и мышастая.

Отползли, отошли, снова в ельник забились. Хоть и дорог каждый час, а без отдыха в бой — дурь одна, перебьют. И прощения надобно испросить и друг у друга, и у себя самого...

И отречение совершить. Без отречения никак.

Потому велел Мураш сегодня лёжкой лечь — и никаких.

Запас едоцкий решили извести почитай весь, по одному ремню мяса на троих оставили на завтрашний день. Мураш роздал сорокА, себе оставил собачий час, лёг спать.

Приснилось, чего не было: будто он, Мураш, схватился на бичах с огромным тарским батыром: кто кого перебичует, тот и будет головой. То есть в ясном смысле головой, потому что все люди тут так и ходили, нося другА на закорках. И Мураш почему — то никак не мог бичом взмахнуть, а удары тарина ложились все ровненько вдоль хребта... Мураш с хульной руганью проснулся, выволлок из-под спины неладно лёгшую толстую еловую лапу, стал спать дальше.

Приснилось то, что было: он, Мураш, двенадцати лет, в учениках кузнеца Добаха, старого учёного горыныча. Сам Добах маленький, жилистый, одноглазый, а молотобоец его, Жимля, из горного камня тёсан-вырублен, только зубы белые, когда хочется. Силы был страшной... Ковал Добах прямые мечи, ножи да жала. Мечей с десятков поковок скуёт, ножей с полста — начинается кузнечное колдование. В глину белую воющую сыпется роговая стружка да костяная мука — как раз дело для Мураша, на маленьком жернове ту муку молот, — да после ещё конский навоз. Поковки этой глиной обмазываются ровненько, сохнут в тени, чтоб не потрескалась глина, после в яму кладутся на большую

грудку углей, угли вздуваются с четырёх сторон — и Жимля сверху на яму каменную плиту кладёт. Теперь дело Мураша да Жимли — медленно качать мех, от которого труба под яму подстроена. До трёх дней, бывало, качали... Потом давали остыть медленно — ещё два дня. После этого доставали поковки. Делались они в подземном огне серые и страховидные. Дальше точильный камень в дело шёл и шлифовальный, мечи Мураш точить не мог, а вот ножей через его руки немало прошло. И наконец настал день закалки. Жимля вздувал горн, Добах брал железным прихватом меч за пята или за шип — и...

У всех кузнецов свои колдования на закалку были. Кто-то по-простому в воде калил, кто-то в масле, кто-то — и на воздухе: или кузнечиха, или дочка кузнецова скакали во весь опор на коне, держа на отлёте раскалённый меч. Про рохатых кузнецов недоброе сказывали, не говоря уж про дварей...

Добах был мудр. Он калил в сале. Делал эти пласты Мураш, скальвая, когда надо, острыми шепочками: свиное сало, каменная соль, мясо нежное; снова сало, снова соль, снова мясо, потолще; и так слоёв шесть-семь, и в общем где-то с пуд всего. Чистая холстина расстилалась рядом со столом... Добах брал прихватом меч за пята или за шип — и с нажимом и потягом отрезал пласт; сало как раз переставало шкворчать, когда он доводил клинок до последнего, нижнего слоя. Второй раз погружал он клинок в пламя, грел недолго, зато студил медленно, покачивая и кружа им в воздухе. Мураш в это время запускал в горн следующий клинок — и шёл сгребать обрезки сала в корзину. Запах стоял...

Когда всё кончалось, Добах и Жимля оставались точить и полировать готовьё, а Мураш волок тяжёлую корзину в копильню к батяне Ершу, тестю Жимли. И долго потом подкреплялись они на работе этими копчушками.

Вот и сейчас: волок-волок Мураш корзину к Ершу, а навстречу ему Игашка, младшая дочка батяни, а в

руках у неё короб берестяной, тряпицей прикрытый...

— Проснись, командир, — появился откуда-то из-за угла Барок. — Решать надо...

8.

Обуз был не воинский и не купеческий, а поселянский: три дюжины крытых дороб с колёсами выше чело века, в доробы запряжены волю, а лошади бредут на привязях; на некоторых едут парнишки с луками в руках, и ещё человек двадцать верховых разбросаны вдоль обуза: кто впереди, кто в середине, кто замыкает. От ватаги защита, да; а от боевой силы... смех. Разве что сослепу кого поранят.

Мураш пересчитал лошадей. Сорок семь. Это половина отряда с подменными окажутся... ну и дело большое, громкое... и хлебный припас...

Заманчиво.

Но и уходить придётся сейчас же, новую лёгку бить, это опять день-ночь без отдыха. А главное — отречения не совершивши, на такое дело идти...

— Пропускаем, — сказал Мураш.

— Что ж ты, командир... — выдохнул Барок. И Манилка посмотрел кося, не одоблив.

— Я сказал, — отрезал Мураш.

И пополз с пригорка. От свежей травы — дурел просто.

9.

Отречение, дело нечистое, тёмное, на собачий час пришлось. Огонь растравили в яме, Мураш кинул туда по листку белены, вороньего глаза, молочая. Все сидели, смотрели, дышать забыв. Мураш снял с шеи малый кружель, пресветлого солнышка-Ра образ нательный, задержал в руке, греясь в последний раз...

Потом плюнул на него. Сказал:

— Отрекаюсь и проклинаю тебя, Ра...

Горло перехватило, не досказал похабную фразу. Просто бросил кружель в огонь. Кожа и берёста вспыхнули жарко.

За ним и другие снимали образы,

кто на шею носил, или из кишеней поясных доставали, а Манилка — и во все из заплечного мешка. Раскладная кинига тихо плакала в руках у Манилки, он в неё смотрел, шевеля губами, потом выронил из рук в огонь — и долго был как мёртвый... Рысь свою Рось ясную бесценную в руках измяла, изорвала; бросила, проклиная. Не сдержалась, ушла от огня. Беляна следом — утешать. Кто бы её утешил... У Барока, веру сохранившего прежнюю, образок Единого; долго смотрел Барок, что-то думал; последним плюнул, швырнул в огонь с силой.

Теперь они все были почти и не людьми, а так — беззаконными сиротами. И за злодейства за все свои отвечали сами и только перед собой, не срамя своих богов.

10.

Обуз с юга они пропустили — похоже, то были солевозы со своими приземистыми телегами, накрытыми от дождя камышом. Всего три лошади на весь обуз, а больше и взять нечего.

И тут же появился обуз с севера, такой же, как вчера — поселенческий. Немного поменьше, доробы и лёгкие дроги, тех и других по два десятка, но в общем коней сорок набиралось. Охрана была так себе.

— Берём? — спросил Мураш — и, не дожидаясь ответа, повторил: — Берём.

...Они-то, небось, думали, что это простой ватажный щипок — отщипнут чуток и пропустят. Потому и верховые топтались на месте, не разгоняясь. Ждали, надо думать, когда из середины подъедет старшой. Не впервой, наверное, было — встречаться с ватагой; знали: биться — себе дороже.

А когда поняли, что всё не так, было поздно.

Мураш, ни на кого внимания не обращая, подошёл к передней доробе и зарубил обоих быков. Всё: дорога была перегорожена, проехать не мог никто. И уж развернуться — тем боле.

На него бросились верховые, толкаясь и мешая друг другу — их тут же снимали стрелами, а двоих, кто до него доскочил, Мураш снизу вверх

проколол сам, драться они не умели и думали, что ежели ты на коне, так и король.

В минуту, не больше, верховых не осталось, кони скакали куда попало, все обезваженные, пустосёдлые. Из дороб и дрог лезли мужики и парни, кто с мечом, кто с дубьём...

Их убивали враз.

Только вот потом самое тяжкое настало — из-за чего и от богов отреклись...

Но кто сумел спрятаться — тех не искали. Кто убежал — давали убежать.

Уходили уже верхами, прихватив и шесть коников подменных. Взяли еды и питья. Остальное — пустили под огонь.

Долго слышно было, как ревут недорубленные быки.

11.

Восемь дней прошло, ой, погуляли. Огнём, полымем да углями дымными отмечен был путь; да кровью. Три новосельских деревни дотла спалили, земледелов гонорных всех перерезали, тою землёю им рты набив; и хуторов малых числом пять; хуторян же на дубах развешали. Два обуза огромных, невиданных, начисто разорили, а мелким и счёт разошёлся: кто говорил семь, кто — и все десять. На рохатский лёгкий разезд засаду сделали, трое задних только и ушли...

Своих потеряли немало: из тех, кто ещё в Бархат-Туре под руку Мураша встал, девятнадцать в сёдлах сидели; а всё одно сотня сильно прибыла: шестой десяток Мураш строил, думая, под кого б его подвести; и выходило, что под Рысь.

Прибывала сотня за счёт батраков да рабов черноземских, которых в деревнях-хуторах немалым числом было, да в каменоломнях-каторгах расковали и вывели пленных воев своих, и кто хотел и мог под копьё встать — тех взяли. Прочим, итильским да гонорским, да иных племён ватажникам и татам просто ключи бросили — живите, как выездет.

И ещё на каменоломнях тех взяли полвозка дробного зелья. Хорошо,

Барок, среди горынычей поживший, знал, что это такое, а иначе так бы и бросили... а то и подпалили...

Страх теперь поперёд сотни далеко бежал. Уже тысяча страшилищ с костяками вместо лиц на блед-конях огнедышащих сметала всё на своём пути, оставляя позади мёртвые трупы и пепелища-пожарища, а на перекрёстках дорог мощёных — горы отрезанных голов. Кровь высоко стояла в мельничных прудах заместо воды... По кличу боевому «Хай!» стали звать их урук-хаями (то гонорные, во всём поддельвающие себя под гельвов) или урус-хаями. И видели их уже в каждом кусте тёмном...

Наконец мольбы натерпевшихся страхов и ужасов новосельцев дошли до ушей военных начальников.

12.

На конях не скроешься и не стиснешь след. Затеряться, схорониться что в лесу, что в степи — можно только пешему. Но и погонщик, пока он верхами, след твой видит плохо: ему, разобраться чтоб, надо спешиться, а то и нос к дерьму поднести да на коленках поползть... Так на так оно и выходит.

Наседали гонорные. Поначалу хотели малой силой взять, просто вися за спиной. Не вышло: у Мураша уже каждый вой по подменному конику имел, так что висеть подолгу даже у гонорных крылатых гассаров, мнивших себя лучшей конницей Средиземья, не получалось. Два раза Мураш бил их — бесчестно, в спину, сперва на гатях болотных, а после на переправе — отправляя перед тем вперёд десяток погонщиков со всеми подменными кониками в поводу, а сам с воями затаиваясь в месте укромном и быстрых да гордых крылатых вперёд себя пропуская — в зозсть и неудобь...

Но быстро сила вражья росла. Дороги, высотки, мосты, броды — скоро все места, которые миновать трудно, оказались заняты постами, в деревнях обнаружили гарнизоны, у лесных троп появились засидки лучников-невидимок. Никто не выжил из тех, в

кого попали тонкие стрелы с голубым оперением.

Пора была уходить от Итильского тракта, а Мураш всё ещё не знал и не был уверен — а сделал ли он своё дело, надёжно ли выманил из огорода вражью силу? Пленные говорили рОзно; а некоторых пешек и вообще с переправ сюда перебросили, и о делах тутощних они знали меньше самих урус-хаев...

Следовало так обидеть врага, чтоб взъярился, чтоб багрец ему взор и разум застил.

На четырнадцатый день Мураш всё рассчитал — и решился.

13.

Вниз по течению Пустыки — верст двадцать от полуночного уреза Моргульской долины — начинается Глинопесь, неудобьсельная чересполосица длинных узких озёр, болот, песчаных кос и глиняных отрогов. В давние времена, когда Итиль был в силе и Черноземье ему дань платило, когда серебром, а когда и кровью, — затеялись итильские каганы соорудить через Глинопесь дамбу, а над Пустыкой навесить мост. Зачем оно им сдалось, непонятно — на том берегу Пустыки до самых Окоёмных гор густые леса; брёвна, может, хотели возить? — так в самом Итиле леса не хуже. В общем, осталась дорога в никуда, но проходящая вполне себе и даже проезжая. И мост цепной на совесть скован, держится. Зовётся почему-то: Каинов мост.

Дорога от Моргульской долины к дамбе есть короткая — не через тракт и потом старую торцовку, а почти напрямик, по пересохшей тальниковой старице, под невысоким глиняным обрывом. Ну, каким там невысоким — в пять ростов, местами и в десять...

И, сбив вечером заставу у мосточка по закатную сторону от тракта и захватив большой богатый хутор (к старым хозяевам-итильцам пристраивались гонорские родственнички, рядом их так и повесили — почти всех), Мураш и Барок разыграли перед дедом и внуком, которых как будто бы

не нашли в курячем загоне, ссору — куда, дескать, идти дальше. И Мураш победил, доказав, что идти надо на Глинопесь, на Каинов мост.

Тщательно все шумели, чтоб не слышно было, как дед-шархун с внуком кур куролесят да потом через забор на конюшню лезут...

А когда ускакали те, Мураш оставил Рысь с остатками её десятка — всего четверых — чтобы под утро хутор запалить, а самим отползти в сторону и затаиться, — и повёл остальных к той дороге по пересохшей старице. Все лопаты и заступы, что на хуторе были, разобрали, мешки пустые, сколько нашли, да ещё горбылей от забора поотрывали — чтоб у каждого было по горбылю, а кто сильный — то и по два.

14.

Делали так: в ночи, почти наощупь, копали в обрыве длинную нишу — два локтя в высоту и четыре — в глубину. Глина слежавшаяся да сырая подавалась плохо, но — копали, аж пар валил. Десять человек Мураш отрядил за тальники собирать окатыши да гальку в мешки. Уже по сумеркам — разложили в глубине ниши просмоленные колбаски дробного зелья, проковыряв их там, где Барок велел, горбылём оградили, по эту сторону горбыля в мешках хуторских положили окатыши да гальку. Глиной забросали — замазали — ничего не видно.

Немаленькая работа сделана — почти двести шагов длиной ниша получилась. С галькой немного промахнулись, и под конец уже бегали-таскали просто так, без мешков, в подолах...

Зажигать должен был Барок сверху, с обрыва. Прокопал от ниши колодец узкий с воронкой наверху, под колодцем зелье распушил. Туда, в колодец, должен он будет бросить смоляной шарик горящий — заранее заготовил.

Ну, а там — как повезёт.

15.

Повезло.

Только разложил Мураш сотню

свою за тальники да сверху проверил, не видно ли — показался дозор пеший. Мураш распластался и чуть попятился даже, ну его, этот дозор, пусть бежит. Лежал и слушал.

Мягко пробежали, быстро, без одышки.

Гельвы.

Стал ждать.

Вот и колонна...

Эх, вот же ж не додумали! Надо было собойный очак растеплить, и после от него огонёк делить. А Барок масляную лампадку ладонью огораживал, и в последний миг возьми да и опрокинь. Ну, не совсем в последний, однако ж...

Заторопился Барок, чиркнул огнём. Ещё и ещё. Тихо выразился.

От пота рабочего отсырел трут.

Бежит колонна. Гельвы не любят ездить верхом — а вернее, коники не любят гельвов, бесятся под ними. Зато гельвы бегают подстать верховым. Мураш знал: на средних статей лошадёнке он гельва накоротке обгонит, конечно. Но за дневной переход так на так может выйти. А ежели гнать без передыху, то гельв верхового загонит. Сам никакой после этого будет, бери его голыми руками, но — загонит.

Свой трут перебрал он Бароку. Тот торопится, не попадает искрой. Огниво же — оно любит, когда его спокойно пользуют...

Попал. Вскурился дымок.

Щепицу смоляную, а теперь...

Выскользнул шарик из пальцев и канул.

Кисет тряхнул — высыпались другие. И — мимо руки.

Всё. Пробежит сейчас колонна...

И тогда за тальниками встали Савс, Тягай, Дрот, еще двое новиков, Мураш в затемнении имён вспомнить не мог, натянули луки, пустили стрелы...

Это с гельвами-то тягаться в лучном бою!

По короткому крику колонна стала, как один человек (а не слышно, в мягких сапогах бесшумно бегут, и если б не проглядывал Мураш сквозь густую траву, ничего бы не понял; разве что смысл криков Мураш различил бы ухом), налево развернулись, в две

шеренги встали, одна шеренга на колесо, другая стоя, луки вздеты, стрелы легли — и тетивы хлопнули, как волна на берег ложится: от хвоста колонны к голове громкое «шшших!» прокатилось. И тут же поднялся Барок. Лук напряг, а на луке огненная стрела дымком да искрами плюётся.

С гельвами тягаться в лучном бою...

Сразу несколько стрел пришли в Барока — снизу вверх, под стёгань. Но и Барок свою стрелу выпустил...

Сначала белый дым да синий огонь вылетели столбом — как раз перед Бароком, и он медленно-медленно в этот дым клониться стал. А потом глухо ухнуло — и взревело вдруг страшным рёвом, коротко, но так мощно, что земля вылетела из-под ног, и там, внизу, где была дорога и гельвы на ней, сделались дым и мрак.

И Мураш, не помня себя, слетел по обрыву, держа меч на отлёте...

16.

Ну, надо было повременить. Уже неслись, как поток по камням, ныряя в тальники и выпрыгивая высоко, его вои — с присвистом, с гиком, с «Хай-хай-хай!» — но ещё шагов сто до них было...

Никогда Мураш такого под ногами не видел, но и гельвы выжившие тоже — снуло шевелились, тыкались мимо. Трёх рубанул Мураш, пока не встали перед ним другие трое — наверное, чуть одыбавшие. Перешагивая через мёртвых, которые ещё ворохались под ногами, и оскальзываясь на крови и дерьме — закружились медленно, опасно, но и опасно — ох, знал Мураш умения гельвов биться, меч у них лёгкий, гибкий, клинком защищаться надо умеючи, а то обтечёт твой клинок гельвская сталь, и нет руки. Один на один с ними выходить, и то тяжко, думать надо, а тут — против троих.

Но были гельвы всё ж битые и ошеломлённые, а Мураш... что-то подхватило Мураша и понесло.

Таким оно и бывает, упоение боем — хватает и несёт, и ничего тебе не

страшно, и сил только прибывает, и удары проходят все. Он положил изумлённых двоих — и положил бы и третьего, но остриё жёстко легло на остриё, и сломались оба меча.

Схватились вручную. Здоровенный был гельв, чуть не на голову Мураша выше и в плечах шире, хотел было Мураш его на калган взять, не достал или достал плохо, покатались оба в канаву. Обрубок своего меча гельв не выронил, там какой-то шип продолжал торчать, Мураш руку его поймал, но гельв наверх перекатился и стал тушей давить. Мураш дал ему повозиться, поймал момент, когда тот чуток приподымется, и двинул коленом между ног. Гельв попытался сложиться пополам, Мураш, не теряя времени, выбил вбок его обломок, дотянулся до своего ножа — и содрал с морды гельва эту их серебристую сетку, кольчужку мелкую-мелкую, которая и от ножа защищает, и от стрелы на излёте...

Содрал и обомлел: гельв был чёрный. То есть угольно-чёрный, с вывернутыми пепельными губами и синими белками глаз. Ну, в общем-то Мураш знал, что такие бывают, но одно дело знать — и совсем другое увидеть, да не где-то, а верхом на себе.

Миг изумления чуть не стоил ему дорого, но нет, успел он ткнуть эту невидаль ножом под ухо — и, уже перекатив чёрного под себя, уже вставая, чтобы не измызгаться кровью, которая сейчас струями ударит, заорал страшным шёпотом:

— Я тебя звал сюда? Я тебя звал? Я тебя звал? Хотя кто-то — тебя звал?..

Гельв зажимал ещё рану ладонью, но глаза у него мутились, а рот дёргался — может, тоже что-то сказать хотел.

17.

Всех, кто от каменного удара убежало, срубили — всего сто восемьдесят шесть мертвецов насчитали посланные Беляна и Кречет. Быстро велел Мураш с мёртвых гельвов шейные чеппы снимать да наугад три десятка заплечных мешков прихватить.

Своих мёртвых Мураш велел не бросать здесь (а раньше — бросали), грузить на подменных и вывозить. После схороним. Пусть думают, что мы здесь своей крови не отдали...

На самом деле — отдали, и немало. Дорого стоила оплоха Барока-покойника... Сам погиб, Савс погиб, Дрот погиб, Тягай погиб, Мумча и Талыза, только что пришедшие в сотню братья-погодки — погибли. Старый Хитро, лесознатец, на него у Мураша большой расчёт был — тоже погиб. Ещё четверо ранены были стрелами и шестеро — мечами, и тех четверых можно было тоже причислить к мёртвым... а если для шестерых этих не найти крова и покоя — то и троих из них тоже.

Четверть сотни ушло. Ну, чуть поменьше четверти...

Ладно, сказал себе Мураш. Уж после такой-то резни — взбеленятся. Это не земледелов грязных да вонючих покрошили, это цвет закатного воинства. Такое не прощают.

Надеяться будем изо всех сил — что не прощают...

18.

Не простили. Хлынуло наконец войск на тракт и в окрест тракта — как воды из прорвы. Точно, весь огородец в долине теперь пустой окажется...

Давай, царь Уман, не подведи, не промахнись. Зря ли тебя так зовут? Зря ли тебя князцы наши заедино в главные начальники избрали, хоть ты не черноземец, а синегарин? Не подведи, царь!..

Мураш в голове имел, что только в одном случае узнает, получилось ли у царя Умана, — если вернётся сам в Бархат-Тур. А в том, что не вернётся, он не сомневался. Слишком овражиста теперь дорога туда...

И всё же металась сотня Мураша между трактом Итильским и Пустыной ещё полных четверо суток. Спали в сёдлах. Кони начинали бредить, падали, пена белая шла.

Люди... а что люди? Как могли.

Хоть ночь надо было дать роздыху.

Уронили себя в крапивах у хутора,

ими же и спалённого, один амбар остался. Гарью несло мокрой, пёсьей, — и труповщиной. Поставил Мураш сороковых, наказав — только ходить, не останавливаться, не присаживаться. Слушали его, кивали. А глаза плавали...

Как ты там, царь? Знать бы...

Отрядил двоих к колодцу — воду проверить и принести, ежели годная. У кого собойные очашки уцелели, те их вздували, думая и кулеша сватажить... А у кого не уцелели или не было в заводе, просто сала с сухарём приняли в утробу — и под попонку.

Сторожно прошёлся Мураш взад и вперёд; а что он сейчас мог? — ничего он не мог. Луна сияла посередь неба, как поднос серебряный начищенный; звёзд не было. Хорошо хоть, не лес здесь, а то в лесу гельвам раздолье... Что-то тревожило, тревожило сильно, он не мог понять.

Но он всегда при такой луне был тревожен и тосковал.

Беляна, сороковая, перешла ему путь, держа на сгибе руки лёгкий гельвский меч. Свой она третьего дня утопила по-глупому. Хотел ей что-то сказать, подбодрить, не нашёлся.

Себе самому Мураш на собачий час сОрок назначил. Велел разбудить.

Уже во сне понял: ни одной вороны, ни одного ворона мертвоклююшего он здесь не услышал...

19.

Очнулся в путах, да и не очнулся вовсе, а вроде как помер — такая мука была. То ли с угару, то ли с перегару — лопалась голова, очи лопались, и всё жарко и мутно несло по кругу.

Но выдержав, не понимая, что вокруг, что внутри — заорал.

От крика, от натуги, что ли — всплеснуло белым огнём в глазах, и стало сплошное ничто.

20.

Потом понял, что развязывают ему руки. Тело было ватное, мягкое, глупое. Голова ещё глупее. Болело всё огнём. Шевельнуться попробовал, не смог.

— Ш-ш-ш... — сказал кто-то, за темнотой кромешной невидимый.

— Что... — начал Мураш, но почувствовал пальцы на губах. Потом ухо уловило тепло:

— Молчи. Это я, Рысь. А ты молчи. Ты себя не видишь...

Мураш согласно кивнул. Зря он кивнул, в голове что-то болталось тяжёлое, острое — и за всё цеплялось.

— В плену мы, — одними губами шептала Рысь, прильнув. — Ты да я. Остальных, говорят, побили всех. Как — не спрашивай, не знаю. Нас зачем-то держат. Я тебя и узнала-то с трудом, обожжено всё...

— Пить, — все-таки шепнул Мураш.

— Сейчас...

Рысь поила его так: набирала в рот воду где-то далеко, возвращалась — и приникала к его разбитым и сожжённым губам. Раз за разом.

Потом рассказывала.

Самою Рысь и людей её выследили и нехотя сдали рохатым здешние поселенцы исконные, итильцы. Живыми не всех взяли, троих только, и стали конями на части рвать, одного порвали, Митошку, а тут нате — разъезд роханский. Препираться стали: дескать, велено было живыми, живые нужны. Поделили в конце концов: Рысь поперёк седла бросили и увезли, а Лутик-Двупалый остался — и за себя платить, и за неё.

Везли через переправу — долго.

Вот, сидит теперь здесь, в темнице крепости Рамаз, и не знает ничего — ни сколько дней прошло на свете, ни пало ли Черноземье, — ничего. Вчера приволокли ей и бросили связанного и обожжённого человека — выходи-вай, мол, — и Мураша она распознала не сразу, а единственно по бреду. И раньше, в ночёвках, и сейчас — звал он Вишенку...

У Мураша застыло сердце, о другом и думать забыл. Вишенка, младшая доченька, пропала этой зимой, и не видел он её мёртвой, как всех остальных своих чад и домочадцев. Значит, жила она в нём, раз он с нею разговаривал.

Не сразу, но начал Мураш шевелиться, потом вставать. Стыд его подгонял.

Глаза не разлеплялись, и промыть не получалось никак. Так и тыкался в темноте. Но руки и ноги были уже почти свои — разве что дрожали. Холод бил его.

Рысь помогала, обмывала горелые места водицею. Много было горелых мест. Он не стонал, она стонала.

Есть давали сырой кислый хлеб и непонятную хлебню. А сколько раз в день давали, понять не получалось, то же и Рысь говорила — ни малейшего окошечка нигде, весь свет от малого медного маслечника на столе. Но и этого света Мураш не видел, только чувствовал правым виском.

21.

Как-то лязгнули замки, и Мураша скрутили, навалившись скопом, — будто был он не лядящий да слепой недобиток, которого воробей крылом свалит да мышака в подпол утащит, а тарский батыр, семью мясами откормленный; свалили, помяли и взяли в железа. Рядом, Мураш ухом слышал, так же мяли Рысь...

Так же, да не так: билась Рысь крепко, и кто-то кряхтел и икал от боли. Потому и месили потом Рысь ногами, жутко дыша, пока кто не заорал по-гонорски: «Хватит!» Тогда перестали, отошли. А то бы убили.

Гнали их куда-то вначале по затхлону, после — по свежему воздуху. Дождь падал, пах травой. Завели в помещение, жаркое, мокрое, склизкое. Железа не сняли, одяг ножами порезали, велели мыться. Мылись под гогот.

Дали накинуть какое-то хламьё. Погнали дальше.

Когда запахло пережжённым зерном, Мураша усадили на низкую скамью, и чьи-то твёрдые тонкие пальцы, похожие на жучьи лапки, стали ощупывать его лицо. Что-то сказали погелльски, Мураш не понял, пожал плечами.

— Она сказала: «запрокинь голову», — голос Рыси он узнал, хотя мог и

не узнать, сквозь такую боль голос тот протискивался.

Мураш запрокинул голову, снова с трудом вытерпел прикосновение жучьих лапок. Потом правый глаз словно вспыхнул — боль была синяя, холодная, острая. Он зарычал и попробовал зажмуриться, но твёрдые пальцы-коготки разодрали его веки. Свет хлынул туда, где давно уже не был.

Что-то яркое и мутное виделось ему, иплыли свекольные пятна.

— Она говорит, всё почти хорошо, — издали донёлся голос Рыси. — А другого глаза у тебя просто нет, вытек он, — добавила Рысь спусая.

В глазу темнело не скоро, пятна собирались в лики, но так и не успели собраться: погнали Мураша с Рысью дальше. Лекарка гелльская дала Мурашу тряпочку, пахнущую смолой, её он и прикладывал время от времени к глазу, который и слезился, и гноем су-кровичным тёл.

Рысь неузнаваема стала, лицо разбито всё и искровавлено, и нос порван. И тоже одноглазая, второй затёл чёрной гулей, даже щелки не видать. Но целым глазом синим — усмехаётся.

Посадили в закрытый возок, повезли. По звуку колёс судя, по каменному тракту везли, а значит — в Монастырит. Ехали молча, о чём поговорить можно, когда с каждой стороны по стражу — сидят, подпирают?

Скучен был путь.

Однако ж доехали.

22.

Когда сказали, что привезли их на суд, Мураш аж засмеялся-закашлялся. Суд! Выдумать такое...

Но вот — поди ж ты. В каморе заперли, но в тёплой, с окошком зарешёченным, и еды дали забытой: каши трёхкрупенной с маслом и взвара горячего. В отхожее место водили. Ещё раз вымыться заставили, теперь уже порознь, и не торопили никуда, и щёлку дали не едкого, — но вот одяг оставили лохмотный, хотя и чистый.

В окошко видна была стена Монастырита и башен несколько. Солнце,

привычное уже, могло и заглянуть на закате дня.

Так и оказалось.

Но вот как раз когда «Ура!» шепнула Рысь с Мурашом, пришёл гельв.

Говорил он по-черноземски верно, хоть и медленно, и слова ставил не так, как обычно их ставят люди. Но понять его можно было легко.

Сказал гельв, что заключены они в крепостце, нарочно выделанной для воев, воинскую правду преступивших. И каждый ждёт суда по делам его, и многие ждут уже и по два года, и по три — это из тех, кто под стены Монастырита ходил с Уроном покойным. Хотел Мураш спросить, их-то за что держат, но не стал — плохо мысли ворочались, блевотно становилось от малого напряжения.

Но их вот, Мураша и Рысь, судить будут скоро, потому что вина их проста и непременно. И всё равно по законам гельвским даже таким татам положен судный защитник, вот ему и выпало быть.

Зовут его Хельмдарн.

— Забавно, — сказала Рысь раздутым языком сквозь шероховатые зубы и губы, которые шевелиться не хотели. — Надо же было для такой глупости нас сюда волочить да ещё подкармливать...

Гельв Хельмдарн принялся объяснять, что нет ничего выше закона, и Мураш по дыханию уловил, что Рысь объяснений не слушала, а готовилась сказать что-то вклин. Набрала воздуха.

— Тебе защищать нас велели — в наказание или в честь? А, Хель?

И гельв оборвал свою речь. Горлом свистнул.

— Так это ты? — прошептал он.

— Я. Что, не пригожа?

Гельв вскочил, подбежал, наклонился.

— Не может быть... Ты.

И снова сел, весь белый, дрожа губой. Глаза обиженные, огромные, со слезой внутри.

23.

Ничего Рысь после не рассказывала, да Мурашу рассказов и не надо было, как-то оно всё само собой узна-

лось: любовь у неё была с этим парнем, да такая, что человека живём в тонкий пепел сжигает. И когда порушилось всё, когда их, как сцепившихся котят, друг от дружки оторвали, внутри гореть продолжало...

У гельва у этого — тоже.

Никак не мог сейчас Хельмдарн поверить, что та давняя его печаль — и есть вот эта страшная заскорузлая череполика урукхайка с топором в правой руке и с сечом в левой, и по колена в крови. Потрясло его.

Но взял гельв себя в руки, не сразу, но взял. Для суда нужно было найти оправдание действиям подсудимых...

Не гоже нам оправдываться, сказал Мураш, да и перед кем? Мы от богов своих отреклись, так чем ваш суд нас может пронять? Да и нет у вас над нами суда, как нет у детей права судить стариков — огней и мук очистительных вы не прошли. Но если хочешь послушать, так слушай...

И голосом скрипуче-ровным, как санный путь, стал рассказывать про день, когда взорвалась Ородная Руина, и как потом перебирали руками распавшиеся дома в восходных, особо пострадавших городцах и слободах Бархат-Тура, доставая мёртвых и обожжённых, и редко когда целых; как видел сам, своими глазами, запечатлённые на кирпичной стене тени сгоревших в той чудодейной вспышке; как ушло лето, и не стало урожая на чернозёмных полях, когда-то кормивших всё левобережье; как пал скот, пали кони и стали падать люди; как ходят чёрные бабы по развалинам и роются, а что ищут, не говорят; как ездил он разбирать вину между тарскими племенами и восточными, потому что кто-то вырезал стойбища сначала одних, а потом других, везде оставляя слишком много слишком явных следов...

— Хватит, Мураш, — сказала наконец Рысь, еле шевеля губами. — Видишь, Хель заскучал...

Тот посмотрел на неё. Что-то сдвинулось в глазах, как бы моргнуло, хотя веки не шевельнулись.

— Да, — сказал он наконец. — Месть. Наверное, я понимаю...

— Это не месть, — сказала Рысь. — И ты ничего не понимаешь.

24.

На следующий день он пришёл рано, принёс корзину из белой лозы. Мурашу казалось, что внутри тоненького гельва что-то гудит-звенит, как пчелиный рой.

В корзине были сладости в основном — наверное, вспомнил, как угощал любу в монастырицких розовых чайных. Рысь засмеялась; точнее, можно было догадаться, что это она так смеётся.

Но пирожное съела. Наверное, чтобы не обижать.

— Что тебе будет за нас? — спросила.

— Не знаю, — сказал Хельмдарн по-черноземски. — Будет зависеть от суда. Как пойдёт суд. Что он решит. Рассказывайте мне... хоть что-нибудь.

Но вместо этого говорил сам. Что сотню Мураша опоили сонным зельем, заправив им колодец. Много колодцев в округе было им заправлено. Бесчувственных, покидали всех в амбар и амбар запалили с четырёх углов. Правда, вытащили из польмя нескольких — Мураша вот и ещё кого-то, — потому что подоспел малыш от йеллоэля — если не ошибался Мураш, то так назывался по-гельвски военный наместник всего края (а имени его он не и разобрал).

Но кого ещё выволокли тогда и где они сейчас, Хельмдарн или не знал, или не мог сказать.

Остальные в огне проснулись...

Про военный городок на Морготской равнине и про укромые потаённые Мураш не спросил. Мог гелв соврать.

25.

Три дня так прошло; словно чего-то ждали. На четвёртый — повели судить.

Перевязали чистым. Одяг поновее дали и плащи серые.

Вели долго: по лестницам, по переходам, потом через площадь. На

площади ставили помост огороженный. Головы рубить, что ли?

Сыпал дождик, Рысь приостановилась даже, голову задрал, лицо под капли подставив. Ей даже позволили так постоять, потом подтолкнули, но не грубо, а почти по-свойски.

Завели в высокий зал, светлый, прохладный, по углам дерева в кадках, колонны выюнами обвиты. Стол на возвышении поперёк, два стола вдоль.

Посадили за стол на крепкую скамью со спинкой, железа ручные и ножные прихватили замками к тяжёлым кольцам в полу и к шкворням под крышкой стола. Со стороны: сидит себе человек и сидит. Встать может. Что ещё нужно в суде?

Два гельва в парадных, чёрных с серебром, узких кафтанцах и с обнажёнными сияющими мечами встали за скамьей.

Рысь наклонилась к Мурашу, сказала тихо:

— Я тут послушала, что говорят. Не всё поняла, но что-то у них сорвалось из затеянного. Сказали, готовились к пиру, а приходится просто ужинать.

— Так и сказали?

— Ага.

— А ужин-то ещё и подгорел...

Они посмотрели друг на друга и засмеялись. И потом ещё несколько раз, переглянувшись, фыркали и потом утирали проступающую на губах кровь и сукровицу.

Пришёл Хельмдарн, сел рядом с Рысью. Ободрающе похлопал её по руке. Страж предостерегающе каркнул.

По правую руку от Мураша, но поодаль и подчёркнуто отдельно, села гельвская барышня, не в военном, но в чём-то очень похожем, положила перед собой несколько книг. У барышни были белые бровки и белые нежные детские волосики завитком. И острое ушко с серьгой: звёздочка и полумесяц. Серьга вздрагивала.

Несколько гелвов — в военной парадной одежде и в простой — вошли и сели за стол напротив. Потом

на середину вплыла, иначе не скажешь, гельвинка в серебряном плаще, воздела руки, что-то спела.

Все поднялись.

Мураш остался сидеть, и Рысь, шевельнувшаяся было, просто села прямее.

Их толкали в спины, коротко и точно били в больные места, но они продолжали сидеть.

Трое гельвов, вальяжные, как тарские хабибы, вышли откуда-то сбоку и сели за третий стол, что на возвышении.

Тот, что посередине, сделал знак, и настала предельная тишина. Он обратился к соседу слева, и тот громко задал вопрос. Барышня с серьгой тут же заговорила — тихо и очень быстро:

— Каллариэль спрашивает, почему вы не встаёте в суде?

— Потому что мы не подсудны ему, — сказал Мураш. — Мы пленные, захваченные на поле боя. Переведи.

Барышня встала и перевела. Села.

Заговорил уже средний, сам. Барышня встала, слушая.

Села.

— Каллариэль говорит, что вы обвиняетесь в многочисленных преступлениях против мирного населения, и задача этого суда — подтвердить или опровергнуть обвинения.

— Скажи ему: мы уже были судимы за эти преступления и осуждены на самую жестокую кару. Вам следовало сразу прикончить нас, как бешеных псов, а не тащить в суд. Потому что не может быть два суда за одно преступление, и уж тем более не может низший суд пересматривать приговор высшего. Переведи.

Барышня моргала глазами, не уверенная, что поняла всё как надо. И тогда заговорила Рысь.

Когда она закончила, настало молчание. Судьи за столом переглянулись между собой, перебросились неслышными словами, и каллариэль встал.

Опять же все поднялись, кроме Мураша и Рыси, но в спину их уже не толкали.

— Судебным следствием установлено наличие приговора по делу, — бормотала барышня, — и, согласно

приговору, вы будете прикончены как бешеные собаки. Срок исполнения — до полуночи. А сейчас я хочу, чтобы мне была предоставлена возможность поговорить с осуждёнными с глазу на глаз...

Гельвинка в серебряном опять что-то спела.

Все вышли, включая стражей. Хельмдарн хотел что-то сказать, но его довольно грубо оттеснили.

26.

Вблизи каллариэль оказался почти стариком — но сказать это можно было, только в упор всмотревшись, напружинив веки. Чуть он отошёл — и снова без возраста, юноша вечный...

Он обратился к Мурашу, и Рысь перевела:

— Спрашивает, не говоришь ли ты на ихнем.

— А то у них этого всего в бумагах нет... — проворчал Мураш.

Рысь что-то прокурлыкала коротко.

Каллариэль заговорил кусками, давая Рыси возможность пересказать.

— Он говорит, что хочет испортить нам торжество... настроение. В общем, погрузить нас в печаль. Как дополнительное наказание... Мы все попались в ловушку. Правда, он говорит, что главной целью было — захватить царя Умана, это у них не получилось, но зато получилось остальное... Всё было подстроено... Чтобы мы пролили много невинной крови и чтобы об этом стало известно во всех землях. И отныне нас будут проклинять и проклинать... Рохатые уже давно требовали снять облог с Черноземья и убрать колдовскую зиму, теперь из-за нас перестали требовать. Мы все умрём, и память о черноземцах будет самой чёрной. Они уже всё заготовили для этого... предлагает пойти посмотреть.

— Ну, пойдём, — легко согласился Мураш.

27.

На помосте посреди площади громозилась железная клетка, вокруг

толпился народ. Рядом с помостом на тяжёлых козлах стояла рама с натянутым холстом. Ветер вздувал парусом холст — и хлопал им, и хлопал, как заводной.

Рысь и Мураша, одетых в серые плащи с башлыками, вели четверо; калларизель шёл впереди и сбоку, как бы сам по себе.

Они обогнули помост, обошли холст и сразу увидели всё.

На холсте нарисована была страшная волосатая рожа с приплюснутым носом и узкими тарскими глазками, налитыми кровью. Окровавленная пасть с кривыми грязными зубами раздирала себя в крике. На гонорском и рохатском — надпись: «УРУКХАИ» — и ниже: «Не дразнить, не кормить».

В клетке, одетые в шкурё, сидели мужчина и женщина. Вернее, мужчина стоял, вцепившись в прутья...

— Беляна, — сказала изумлённо Рысь. И ударила воплем: — Беляна!!!

Все посмотрели на них. Все, кроме той, что сидела за прутьями.

Калларизель что-то сказал стражам, и Рысь подвели к самой клетке. Мураш пошёл следом, его не удерживали.

Да, Беляна. Волосы сгорели и брови. И в глазах уже не смерть плавает, а тупость, безумие и злоба. Как у дикой свиньи...

Мураш сделал несколько шагов, чтобы увидеть лицо второго. Споткнулся от узнавания.

Это был Мамук. Тысяцкий Мамук. То же безумие в красных глазах, голова перетянута ремнём...

Значит, ходили за припасами. Значит, не зря мы!..

— Пойдём, — сказал Мураш Рыси. Та кивнула.

Они пошли на толпу, и толпа послушно раздалась.

Рысь остановилась на миг, присела. Подобрала с камней полураздавленную мягкую булочку, повернулась — и бросила в клетку, как раз на колени сидящей Беляне. Та подхватила хлеб, вцепилась зубами.

— Вот теперь пойдём, — сказала Мурашу. И усмехнулась.

Они отошли шагов на тридцать, когда сзади закричали.

28.

— Это было бессмысленно, — сказал калларизель, — не эта женщина, так другая... Таких клеток будет много. В каждом большом городе. А потом их повезут по небольшим...

Рысь уже привычно перевела, и Мураш кивнул:

— Не сомневаюсь.

— Я не понимаю вас, — в голосе калларизеля вдруг прозвучали какие-то человеческие нотки. — вы не просто побеждены, вы уничтожены. Обещаны навсегда. Но ведёте себя так, словно ничего этого нет...

— Объясни ему, — сказал Мураш — и откинулся к стене. Калларизель пришёл вместе с ними в их камеру, дверь осталась открыта, за дверью держалась стража.

Он, собственно, не знал, что говорит Рысь. Может, вплетает ему какую-нибудь древнюю легенду. Попробуй им объяснить, что в итоге, победив, они проиграли? Они проиграли сейчас и будут проигрывать впредь. Даже если они завоюют весь свет. Весь свет — всё то, что есть за окоёмом.

Дальше-то что?

Чтобы разбить нас, они громоздили ложь на ложь, нарушали договоры и запреты, били в спину. Они изуродовали мир и наплодили в нём чудовищ... не задумавшись даже, что заменяют его, этот мир — древний, сложный, непонятный и довольно страшный, который им мешал, их не устраивал, — новым, они его на ходу лепили, стараясь подрезать всё под себя, но это то же самое, что строить дом, живя в нём, или кроить и шить кафтанец прямо на себе... мир с иной магией и с иными законами, которых они сами толком не знают и по высокомерию своему узнают не скоро. Сто лет они будут урукхаями пугать непослушных детишек, а потом эти детишки начнут играть в урукхаев, а потом урукхай соберутся где-то в тайном месте и растворятся в ночи — поначалу

только для того, чтобы нападать сзади и разрывать когтями горла...

Ты старый, каллариэль, и знаешь, наверное, в сто раз больше меня, и видел всего раз в двести больше — но самых простых и понятных вещей ты не понимаешь. Ну, извини.

29.

— Что будет с этим... твоим? — спросил Мураш.

— Не знаю, — вздохнула Рысь. — Не убьют. А там... Мать выручит. Мать у него почти что при дворе.

Она помолчала.

— Я этот яд вообще-то выкинуть хотела, чтоб Хеля не подводить. На него одного подумали бы — в любом случае. А тут... всё вдруг как-то само собой получилось. Я даже и подумать ничего не успела...

— Как в бою, — сказал Мураш.

— Ага...

Слобода кончилась, дальше рас-

стилалась каменистая пустошь с какими-то старыми развалинами, заросшими плющом.

— Я вот тут... — Мураш прокашлялся. — Не обвенчаться ли нам? Что бы там... ну... не порознь? А?

— Только чтоб не порознь? — тихо спросила Рысь.

Мураш опять прокашлялся.

— Не только. Давно уже... мила ты мне и любя. Вот... я это сказал. Будешь мою?

— Буду, Мураш. Мил ты мне и люб. И перед лицом...

Она вспомнила, что от богов они отреклись, и замолчала. Тогда Мураш взял её за руку, переплёл пальцы, и дальше они пошли, как муж и жена.

30.

Их убили на пустоши, как бешеных псов: растянули железными крючьями и медленно удавили, накинув на шеи провололочные петли.

ОБ АВТОРЕ:

Один из самых ярких представителей т.н. Четвертой волны отечественной фантастики, поколения Малеевских семинаров (1980-е гг.). Прозаик и переводчик Андрей Геннадьевич Лазарчук родился 6 февраля 1958 года в Красноярске. Окончил Красноярский медицинский институт и Московский литинститут. В течение нескольких лет работал в различных медицинских учреждениях. С 1989 года живет исключительно литературным трудом.

Дебютировал в печати в 1978 году с подборкой стихотворных пародий, а в 1983 году состоялся и печатный дебют в жанре прозы — фантастический рассказ «Единственная дорога». Кстати, первая журнальная публикация — рассказ «Монетка» — состоялась на страницах журнала «Знание-сила». Автор более полусотни книг в различных направлениях фантастики — «Опоздавшие к лету», «Жестяной Бор», «Транквилюм», «Священный месяц Ринь», «Солдаты Вавилона», «Все способные держать оружие», «Посмотри в глаза чудовищ» (в соавт. с Михаилом Успенским), «Гиперборейская чума» (в соавт. с Михаилом Успенским), «Штурмфогель» и др., а так же многотомного цикла «Космополиты», созданного в соавторстве с женой Ириной Андронати. Кроме того, переводил на русский язык произведения американских фантастов Роберта Хайнлайна, Филипа Дика, Люциуса Шепарда.

Андрей Лазарчук лауреат многих жанровых премий, член Союза российских писателей и Русского ПЕН-клуба. С 1999 года живет в Санкт-Петербурге.